

Независимая газ. - 1999. - 30 апр. - с. 8.

Мария Ремизова

В ИКТОР ПЕТРОВИЧ, вы принципиально нестолличный житель. Дает ли вам что-нибудь позиция «стороннего» красноярского наблюдателя в понимании жизни?

— Чей?

— Вашей. России. Жизни вообще.

— В своей бы жизни, дай Бог, разобраться. А России — тем более в нынешнем положении... Есть, конечно, ребята, которые рискуют говорить, что они все знают, все понимают. И даже знают, чем все это кончится. Я к таким не отношусь.

— Как вы оцениваете фигуру Солженицына, его роль в литературе и общественной жизни?

— Хорошо оцениваю. А что касается роли в литературе, общественной жизни, то, по-моему, сейчас нет вообще никого, кто играл бы какую-то роль. Присутствие Солженицына, конечно, как-то ощущается — может быть, не так, как ожидали до приезда. Устали люди, устала страна, и до Солженицына уже нет никакого дела.

— А как вы смотрите на современную литературу? Есть ли в ней фигуры, которые кажутся вам интересными?

— Нормально смотрю. Идет нормальный творческий процесс.

Время сложное, перепал, и в литературе — тоже перепал. Соглашусь с Ерофевым, сказать, что она умерла, я не могу. Не может умереть русская литература, поскольку она состоит все-таки из радости, не из счастья, а из страдания, из горя. А жизнь всегда давала для этого богатый материал — и сейчас дает. О том, что литература существует, говорят хотя бы разнообразные формы. Другое дело, нравятся они кому-нибудь или нет, мне... Мне многое не нравится. Но к этим формам отношусь терпимо. Время перекола ведь бывает не только в смысле перестройки. Это началось давно — уход человека из сельского образа жизни в городской. Военная промышленность воссала-таки нашу деревню. Это она воссала, урбанизация не сама по себе произошла. Просто в городе платили больше, создавали условия. Человек, когда представлялась возможность, сначала за вязки по справке уходил из колхоза, а потом просто хлынул оттуда, поселился на этих окраинах, неизменно разрослась Москва, другие города. Все они набиты бывшими крестьянами. Тут где-то я видел

должны преодолеть в себе очень тяжелое состояние. И все это или воспеть или проклясть — это их дело. Пока они идут по пути очень сложных поисков — одни проклинают, другим это нравится, третьи, как Хичкок в юбке, превращают все это в какую-то черноту — так они все это восприняли. А я понимаю так — идет болезненный переход из одного состояния в другое и в жизни, и в литературе, и в искусстве.

— А как вы думаете, это кризис в литературе или уже деградация?

— Нет, просто болезненный переход. Накапливается какая-то очень большая творческая энергия. Мы только что провели в крае семинар. Прозаический семинар вел Валентин Курбатов. Есть, есть новые силы. Но они как бы заново все переделывают. Есть авторы, которые называют уже не роман, не повесть, а литературный проект. Им так нравится. Ну да хоть горшком назови, только в печь не ставь. Вот есть Олег Павлов — хороший писатель, Алексей Варламов, другие. Даже те, которые выключаются. Они хорошие ребята, очень грамотные. Хотя многим, как на парадоксально прозвучит, мешают именно грамотность. Поверхностное образование. Я говорю не о том основательном образовании, какое было у Льва Толстого. А эти все-таки еще соприкоснулись с той школой, в которой учился весь советский народ. Вот Виктор Ерофеев выпустил новый сборник — у Бодлера титан название «Цветы зла», а сам пишет уже «Русские цветы зла»... У нас в Красноярске есть литературный лицей, первый, названное, в России, так я написал примерно учит тому, как не надо писать. Когда Ерофеев пишет статью — там статья замечательная, предрекает, трактова, рассуждение логичное, — выходящее хорошо. А сам по себе он пишет плохо. И его сподвижники тоже безумно плохо пишут. Не владеют ни словом, ни стилем. Когда Мелихов рассуждает о литературе — это великолепно. Но вот он сделал «Литературная газета» сделала ему литературную подножку. Она взяла и сначала напечатала все его «теоризмы», а потом рядом его текст. Это ужасно. Беспомощно совершенно. Но сравните они жуткие. Рубинштейн там, какой-то еще... Я вырос в деревне, летдомовщину схватил, солдатчину. Я владею всем этим, так сказать, искусством. Но терпеть не могу благины, и с ю отравился в детстве. Это отвращает, как я не могу терпеть моего папу-пьяницу, потому что отравился этим — и в детстве. А они упиваются этим — и в кино, и в литературе. Им это внове. И наши певцы, Шуфутинский и другие... Это сознательные путаники. Они надевают штаны назид пуговкой, и все говорят: ай-я-яй, в Париже живет — и как свежо пишет, Мамлеев там и другие... Вы думаете, это трудно сделать? Или написать про деву, которая вышла и попала во всякие сети... Да нетрудно! Любому человеку, хоть чуть-чуть владеющему словом. Вот Улицкая написала «Веселые похороны» — это я не полюблю. Это все-таки грязная литература, грязная. Писать о покойнике, об умирающем, как гнетется после похорон... Есть какие-то вещи, где русский человек, как бы он ни служил Мельпомене, громко скажем, как бы он ни был горьким пьяницей, не повернется у него язык писать такое кошунство. Я считаю, что это кошунство. Кроме «Смерти Ивана Ильича» я не воспринимаю никакого другого произведения об умирающем. Я много видел, как умирают люди, — нич-

# ЕСЛИ ХВАТИТ СИЛ...

## 1 мая Виктору Астафьеву исполняется 75 лет

го в этом хорошего нет. Писать все это — вокруг поминок, как идет это пьянство, как баба, спавшая с покойником, уходит с другим, — это все-таки срам, русской литературе не присущий. Писали ведь и Куприн, и Бунин... По существу, в «Чистом понедельник» происходит то же самое, но насколько это прекрасно, насколько это возвышено! Как, оказывается, можно одной и той же теме касаться разными руками! У меня бывали такие случаи, когда я хотел о чем-то написать, но считал, что я не созрел для этой темы. Мне всю жизнь хотелось написать рассказ о Пушкине. Но я настолько боготворю его — с детства, с первого стихотворения, — что много раз начинал рассказ и откладывал только потому, что не опуститься в какое-то кошунство, пошлость. Я не осмеливался. А для них не существует запретов. Я никогда почти не касался темы матери. Я был маленький, когда она утонула. Я мало о ней знаю — больше по рассказам. Но не могу быть, удерживает и то, что какой он был, написать я не могу, а создавать, как мы любим и умеем в России, образ-икону — такой опыт, во-первых, уже был, и не очень он благороден, а во-вторых, не надо — там уже об этом написано, или ничего. Все-таки в основе своей русский характер целомудрен. Что бы ни происходило, как бы девки тут в Москве ни продавались, воры там всякое, но я знаю массу людей, кто это душевное целомудрие сохранил и, может быть, какое-то время его и пронесет.

— А вы считаете, что возрождение произойдет в каком-то новом направлении или все-таки в рамках реализма?

— Неизбежно в новом, иначе литература просто остановится.

— То есть реализм, по-вашему, уже изжил себя?

— Нет, реализм обязательно будет присутствовать. Он уже пережил в себе множество поворотов, изгибов, обязательно переживет и какую-то новую материальность, что ли. Воплотится в какой-то новой материи. Урбанизация произошла, теперь будет разурбанизация, откат. Это все материал для размышлений, для литературы. Будут совершенно другие писатели. Сейчас молодые, особенно свои первые книжки, пишут зловонно. Они имеют университетское образование, многие уже владеют языком. А вот дальше — пишут на том же уровне или хуже. Мы же начинали с примитива, да и что от меня ждать было — шесть групп образования. Фронт, госпиталь — это не эстетические институты, где можно шлифовать свой разум и вкус.

— О вашем романе «Прокляты и убиты» много писали и много критиковали, о повести «Веселый солдат» отзывались, наоборот, в основном положительно. Как вы относитесь к критике, вообще к тому, что о вас пишут?

— А ведь и то и другое — один и тот же сюжет! Но я всегда относился к критике терпеливо. У меня и друзья критики были — Александр Николаевич Макаров, Николай Николаевич Яновский,



В Москве накануне своего 75-летия. Фото Андрея Никольского (ИГ-фото)

сейчас Валя Курбатов, Саша Михайлов. Это все мои приятели. Критика — тоже род литературы, каждый имеет право на свой взгляд, начиная от чурки дров и кончая романом.

— Но вам интересно читать, что о вас пишут?

— Не очень. Это все ожидаемо. Я, когда писал свой роман, заранее знал, на что шел, не очень рассчитывал на восторг. Самое интересное — письма читателей, участников войны, тех, кто бывал в тех местах, в тех полках несчастливых... В смысле поддержки они, конечно, для меня горько больно значат. А ваш брат критик — путаник все-таки был и остался. Как мучительно развивалась литература, так с ней вместе муниципально развивалась и общественная мысль. Критик же — выразитель общественной мысли. А раз одно с другим неразделимо, то болезни, путаница — они перелетаются и вам. Другое дело, что баба, которое в критике развелось, — путаники еще большие, чем мужики. Сами себя иногда запугивают. Читаешь — начало статьи с концом не сходится, автор сам себе начинает противоречить. Но это все свойственно и литературе. Уж такого путаника, как мой приятель Миша Кураев, надо поискать.

— Что означает для вас понятие «военная тема»?

— Означает «антивоенная». Рассказ о войне человека, который сам с ней соприкасался, не может не быть антивоенным. Он лжет и ползет по отношению к обществу, если он увлекает, изображая красивого «Голубого лейтенанта»

лиск... Старичок, но человек настойчивый. И он думал-думал и додумался, прислал мне в Красноярск рукопись, вот, мол, ни где не могу напечатать. Я прочитал — так я не мог читать главами, я читал страницами. Это потрясающий антивоенный роман, и именно поэтому наши его не печатали. У нас бронепоезд стоит на запасном пути, а он объявляет, что всякая война — дерьмо. Роман про человека, которого так на империалистической войне ударило снарядом, что у него не осталось ни рук, ни ног, лицо сорвано, никаких, конечно, мужских достоинств, осталась только грудь. У него работает только память, и он никак не может справиться с миром. А лежит в госпитале, как экспонат. Слепой, глухой. Материал уже настолько крайний, что только большой мастер может взяться за такой материал. Меня потрясло, что Трамба написал об этом хорошо. Из этого можно было сделать такую кашу, такого Дюма. А он справился на девяти листах, то есть по размеру это примерно «Дубровский». И вот этот герой помнит, что овладел когда-то азбукой Морзе, и начинает биться головой о кровать. Сначала сестра, потом врачи понимают, что он хочет что-то сказать. Собирают там какой-то консилдум и спрашивают: чего вы хотите? Свяжитесь с миром. Для чего? Хочу, чтобы меня посадили в клетку, возили по всему миру и показывали. Таким образом я смогу бороться за мир против войны. Вот такое отрицание, отрицание войны на грани возможного — только так. За что меня ругали? Что война страшная, а я перенял палку. Нельзя перенять палку! Я хорошо сделал, что прочитал эту книгу. Я не написал бы «Прокляты и убиты», если бы не прочитал Трамбы. Это не значит подражать, это меня просто поддержало, укрепило в каком-то моем художественном сознании. Или вот еще книжка. Ну, конечно, как и все книжки у них, название в тринадцать слов! Не помню названия, хотя она легла у меня на столе. Говорят, она печаталась отрывками в «Звезде». Это рассказ о том, как умирает девочка от рака. Я так понял, это биографический материал, у автора дочка, видимо, умерла. Потому что подробности, чувства, какие он описывает, может воссоздать только действительно переживавший человек. Эта девочка обнажает все мерзости и все прекрасное, что есть в современном мире. Она становится взрослой, пока умирает, она утешает родителей. Они вместе с ней становятся лучше. Они в раздоре все время жили, она журналистка, он тоже там какой-то придурок... Она их примирила. Страдаем, борьбой за нее. Что они только ни делают, чтобы ее спасти! Такие героические усилия, какие многим и не снились. Вот чего хотелось бы от современной литературы.

— Считается, что в разале над военной темой на вас оказало определенное влияние Константин Воробьев.

— Оказал вот в каком смысле — мы с ним были хорошие друзья. Я познакомился мы интересно. Я жил в Перми в ту пору — в основном в пермской деревне. И попал мне в руки (так привез в деревню, то и читаешь) такая по-

ведь — «Капля крови». А поскольку у нас одновременно в литературе было шуг десят Воробьевых, то я нашел где-то адрес Кости Воробьева, он жил в Вильнюсе в ту пору, и написал: как тебе не стыдно, ты был там, воевал, я читал твои рассказы, и ты такую дрянь пишешь для детей. Он мне ответил письмом: ха-ха-ха! Ну и надавал же ты этому засранцу Воробьеву! А это Евгений Воробьев оказался. И вот мы начали переписываться, а потом встретились. И пришлось друг другу. И теперь, когда он умер, я с Верой, его женой, поддерживаю связь, с Натальей, с Сергеем — с его детьми. Иногда удается даже Веру в чем-то помочь. Вот в правительство обратился насчет квартиры — не знаю, правда, помогло или нет. Письмо Лужкову переправили, а может, Лужков под сукно пошел...

— А кого еще вы могли бы назвать из тех, кто оказал влияние именно в области военной прозы?

— Василий Быков, а с Быковым тоже корешился много лет. Очень хороший был писатель Иван Акулов, забытый нами совершенно. Он написал роман «Крещение» о войне и о коллективизации — «Касьян Остудный». Я считаю это лучшим из написанного нами. Свою книгу «Последний поклон» я тоже считаю не худшей в этом косяке литературы, но это «Касьян Остудный» еще тянется и тянется всем нам. Этот роман и «Привычное дело» Белова — может быть, лучше, что сделано. А потом уже Федор Абрамов — «Две зимы и три лета». Был еще такой Климентьев в Свердловске, написал «Тень луны» — как-то так, кажется — еще залогом до «Судьбы человека» Шолохова, но написанное блестящее. Много было честной литературы — ну, в пределах возможного, той цензуры, конечно, соприкоснулся. Но все-таки ребята расколупывали эту наделу, находили чистую воду. Накапливалось постепенно. Но больше накапливалось этаким противоядием против того, что бесило, сердило. Я перед честным офицером, генералом готов был шапку, но слишком их много. Зато дерьма слишком много, командующих тех же, как вот Москаленко, командующий 38-й армией. Да и этот, 18-й армией командовал, грузин этот — Васильев? Или Лидзе? — не помню... А черт с ним... У меня оба командира были хорошие — командир корпуса хорошие, командир полка хороший. Зарубин с нашего Воробьева Митрофана Ивановича списан почти целиком — как там сказано: единственный человек, который не матерился... А можно сказать — и последний. Кроме Митрофана Ивановича, больше уже не встречал, ни до, ни после, кто не матерился.

— А современная война может стать темой ваших произведений?

— Нет, я уже закончил с этой темой. Закончил «Веселым солдатом». Но то, что написано у нас про Афганистан, про Чечню, все это плохо сделано, очень плохо. Опять стусок, опять какие-то братишки... Выдали им тельняшки вместо нашей завшипенной рубашки, и они перешли в какое-то новое качество. Начали выпячивать грудь. А перед чем?

— Что из написанного вами дорого вам больше всего?

— «Пастух и пастушка» и «Ода русскому огороду».

— Есть и киноверсия ваших произведений, и театральные постановки. Как вы к ним относитесь, и считаете ли вообще нужным переносить свое творчество на экран или на сцену?

— Только что в Красноярске поставили балет «Царь-рыба». Ну,

осталось, конечно, только название, ну, основная мысль какая-то... В кино не было больших удач. Недавно показывали «Звездолет», он мне показался милым таким, лиричным фильмом. А больше нет. В театре постановки бывали хорошие, в Театре Ермоловой, у Бородина (сейчас это называется Российский молодежный театр), вот у него было «Прости меня». В Ленинграде на Литейном «Прости меня» хорошо ставили. Но сказать, что это «ах», не могу.

— Может быть, вопрос покажется странным. Возможно ли сейчас такое, чтобы вы писали что-нибудь в стол?

— Нет.

— То есть все, что вы пишете, у вас есть и возможность, и желание публиковать?

— Да нет, просто хочется убрать весь хлам. Со стола, из стола. Собрание сочинений дало мне эту возможность. Большие хлама уже не накапливаю. Или бросаю, или отлаю куда-то. Сейчас хочу написать повесть для детей. Я всегда очень любил писать для детей, и по хрестоматиям, по учебникам бродят мои рассказы. Какие уж там они ни есть, но ребяташки плачут. Это, может быть, самая благодарная публика, и потом это величайшее наслаждение — писать для детисек. Как-то сразу начинаешь приходить в это состояние, и сам себе радуешься. В повести этой будет просто жизнь — собачонка, ягоды... У нас был писатель, он жил в очень глухой уральской деревне. Отчасти это будет рассказ об этой деревне, о лесах, о долах. У меня была презабавнейшая собачонка, принесла мне шенком, она уже отжила свое и умерла. Я и раньше писал о собаках, но не так пристально. А об этой хочу написать. Очень забавный тип был, все его любил, хочу, чтобы и ребяташки полюбили. Хочу себе доставить радость. Ну что же только на разрыв работать, как в «Прокляты и убиты»? Ведь это все пропустить через себя — ой, как было тяжело! То, что я там изобразил, — это тысячная доля того, что жило в воображении. Это же растерзать может человека. Хочу отдохнуть маленько — и от себя, и от написанного другими.

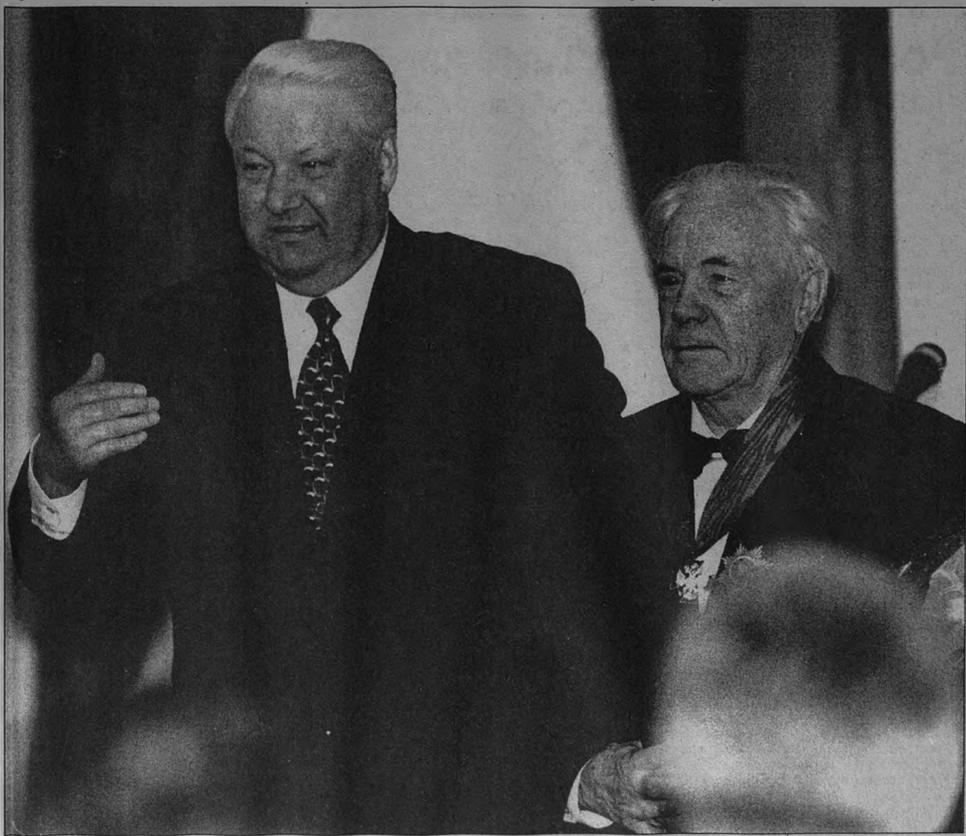
— Но вообще вы не отказываетесь от идеи писать произведения с каким-то общественным, публицистическим звучанием?

— «О чем писать, на то не наша воля», — сказал Рубцов. Черт его знает, знает за стол, может быть, напишу скучные, которые для третьей книги романа вынашивал, есть куски очень яркие. Если хватит сил...

— А кроме васиста, чем еще наполнена ваша жизнь — если у вас, конечно, остается свободное время?

— В деревне я засадил огород лесом, лес вырос большой. Келр плодородист, хотя двадцать лет прошло. Вообще он плодородист на 27-м — 32-м году жизни, а у меня — на 18-м. Любить надо растения, тогда и они... Буду в деревне жить, печку топить, по лесу ходить. Рождественники еще маленько остались. Куда-то съезжу. На притоки я ежу — удочку закинуть. У нас есть есть места-то, где можно рыбешку поймать. Есть у меня в тайге знакомые охотники, которые всегда с удовольствием идут, поскольку я не наодолев. Я удку куда-нибудь один и сажу. Меня охотники спрашивают: Виктор Петрович, неужели тебе не наодоле с утра и до вечера сидеть одному у костра? Я говорю: нет, не наодоле, уйди ты отсюда, чтоб я тебя не видел, — наоборот, я счастлив.

Москва



Виктор Петрович Астафьев на встрече с читателями (1979 год) и с президентом на церемонии награждения (1999 год). Фото ИТАР-ТАСС